дмитрий порушкевич

поздний листопад

стихотвореня

г.орёл 2013

ББК 84(2р)6
П 60

ISBN 978-5-91468-135-4

П 60 **Порушкевич Д.П. Поздний листопад.** – Орёл: Издательский дом «Орлик» 2013. – 120 с.

В новой книге Дмитрия Порушкевича представлены стихотворения ранее публиковавшиеся в его сборниках, в журналах, в альманахах, а также стихи, печатающиеся впервые.

ISBN 978-5-91468-135-4 **ББК 84 (2р)6**
П 60

© Д.П. Порушкевич, 2013
© Е.В. Пашин (послесловмне), 2013
© БУКОО «Орловский Дом литераторов», 2013
© Издательский Дом «Орлик», 2013

что за дни торопливые эти...

* * *

Ты, осень, чем опалена?
В твоих лесах боюсь забыться…
Рубиново возрождена,
рябина снова первобытна.
Стоит, пронзительно светла,
тысячелетняя ветла.

И ясен ясеневый лист,
и клён прозрачно-переливчат,
и щеголиный ярок свист,
в нём с давним детством перекличка.
И непорочна красота,
как поздней женщины уста.

Её отчаянье спешит,
пылает гримом искушенным,
в ней память о весне дрожит,
как лист, к паденью предрешенный,
как лист, что отлетит на мох,
как диалектики намёк.

* * *

И было тихо в том лесу…
В лесу отпевшем, оробевшем
отшелестел, угас орешник,
и воздух стыл, прозрачно сух.

Стояла поздняя печаль.
За вспышку наших встреч карая,
в нас тоже что-то догорало,
подобье осени влача.

Ты, от меня чуть-чуть отстав,
разглядывала лист упавший,
и мы стояли, словно дальше
возникла пропасть без моста.

Нам пропасти той полосу
перешагнуть не хватит силы.
А ты сказала: «Видишь, милый,
как хорошо сейчас в лесу».

* * *

Что за дни торопливые эти!
Что за неба изменчивый лик!
Это с осенью встретилось лето,
это сердце остыть не велит.

Это ты не приемлешь упорно,
что седины густы на висках,
что дитя, что девчонка-оторва
поглядит на тебя свысока.

Это дерзость тебя обновила.
Но смешон ты в попытках бравад.
Как сильна эта юность наивом!
Как твои безнадёжны права!

И порыв твой тосклив и напрасен,
эти дни твоих лет не скостят.
Что за музыка в ветре ненастном!
Что за красный холодный закат…

* * *

Чем старше ты, тем мысли - медленней
и тем нерасторопней шаг,
но все быстрей, все незаметнее
минуты, дни, года спешат.

* * *

А мы всё бьём наверняка
по тем мишеням, что поближе,
как будто про запас – две жизни,
а эти дни для нас – пока,
как будто время нам даёт
права себя баюкать ложью,
и ты понять уже не можешь,
как от мечты своей далёк.

Мы врём себе в своей любви,
она давно от нас сбежала,
и лишь её замена – жалость –
в дому уют стремится свить.
Нам оправданья в этом нет.
Ты молча затворила шторы,
сквозь розовую ткань которых
снаружи виден мягкий свет.

одиночество

Когда всё это началось? –
Вот так: вдвоем, и всё же – врозь.
Ты рядом спишь, ты вместе ешь,
а в остальном – сплошная брешь.
О, как ты от всего устал!
Тебе чужды её уста,
чужды слова, чужды глаза.
И возвратить уже нельзя
того, что радостью звалось.
И только – боль, тоска и злость.

Пора решиться, наконец,
сорвать наручники колец
и мучить души перестать.
Ведь ваша связь давно пуста,
и все меж вами прервалось:
хоть вы – вдвоем, но вы же – врозь.
И ты – один, как сыч в ночи.

А рядом – женщина молчит.

1971

* * *

Вечерних окон маета.
Сойдутся тени, разминутся…
Сойдутся на одну минуту,
а разойдутся на века.

* * *

Владимиру Ермакову

Округа, крадучись, молчит,
боится выдать шорох лишний,
ты остановишься и слышишь –
твоя душа кричит в ночи,

она кричит, она – пуста,
она оставлена любовью,
и ты – наедине с собою,
и жизнь – почти что прожита,

и видишь – дальняя звезда
вниз к горизонту устремилась,
и промелькнула быстрым мигом,
и не оставила следа.

* * *

Вдруг спохвачусь, отчаявшись,
задохшись от суеты, –
что же не получается
маме дарить цветы?!

Занят делами теми ли?
Как же я так жесток,
что не выберу времени
к маме придти на часок!..

А мама к любому празднику
и даже совсем без дат
приходит застенчиво-радостно,
и вносит в дом благодать.

* * *

Крест деревянный. Холмик.
Редеет круг родных.
Ты, как слепой, находишь
места могилок их.

Сквозь бытия законы
судьбу свою просей…
Всё шире круг знакомых,
всё уже круг друзей.

Ни до кого. Измотан.
Тупеешь от забот.
Всё ниже круг полета,
всё туже круг невзгод.

А недругов – всё глуше,
всё тише голоса.
…вот знать бы только: душу
возьмут ли небеса.

октябрь

Когда протяжно и печально
застонут ветры, и тоска
к тебе придёт, не постучавшись,
и шепчет, шепчет у виска,

ты вдруг решишь, что в этих днях
всё примитивно до предела,
и ничего не переделать,
как стона ветра не унять.

Не потому ли в этот час
ещё нужней любимый голос
и на плеча бегущий волос,
и не хватает милых глаз.

…А завтра утро наведёт
на поучительность природы,
прозрачной речкой за пригорок
тебя студено позовёт.

Ключа кристальности отпей,
вдохни восхода просветлённость
и вникни в чистую зелёность
идущих на зиму полей.

* * *

Красный... бурый...
Краски бури?
Просто, лист, отшелестев,
ветром сорванный сумбурным,
гибло на землю слетел.

Куст калины – воспаленный,
как продрогнувший закат.
И сгребает кроны с кленов
запоздалый листопад.

Городской забредший житель,
выпавший из суеты,
что здесь растерял, скажи ты,
и обрел что всуе ты?

И сидит в груди тревога,
и саднит тоска виски,
и колдобины-дороги
скользки, вязки и узки.

А в пустых полях кочуют
зябнущие сквозняки,
да белеют, зиму чуя,
вдалеке березняки.

как это было давно…

эвакуация

Маме

Это помнится
до мельчайшего.
Ты несешь чемодан и узел,
я – вприпрыжку,
с огромным чайником
в серой кепочке,
карапузик.
– Мама, мама,
куда же едем мы?
Этот город как называется? –
Ты ответила словом медленным,
непонятным:
– Эвакуация.
Поезд шел по лесам и рощицам,
по зеленым большим болотам.
– Мама, что, если дерево бросится
под колёса?
– Ну что ты, что ты!
– Мама, вот где, наверно, орехов!
Мама, лесу не видно краю.
Мама, долго ещё нам ехать? –
Ты сказала:
– Сама не знаю.

И всё время меня обнимала
и, смотрела как-то не так…
А вагоны на стыках качало,
и колёса стучали в такт.

1964

* * *

Антону

Набрело полнолуние
на мальчишкины сны,
он проснулся в полуночи,
не признавши луны.

Там, в окошке простуженном,
белый слон по снегам
шел из сказки разбуженной
колдовство постигать.

Свет пронзительно-кварцевый
по квадрату стекла,
словно синий аквариум,
на подушку стекал.

И, опять засыпая,
мальчик видел, с улыбкой:
звезды выплыли стаей,
словно желтые рыбки.

помидоры

репортаж

Рань воскресная.
Пуст город.
Приподнимается туман заспанный.
Мы спешим на автобус, горластые.
Мы – в совхоз, убирать помидоры.
Эй, автобус!
Растянись!
(Говорят, из резины сделан ты.)
Только, песен тебе не вместить.
Наши песни?!
Нет, не удержишь ты!
Вот совхоз оседлал пригорок.
Подъезжаем к правлению хором.
Нас на поле ведёт бригадир.
Солнце выспелым помидором,
чуть покачиваясь, глядит.

А здесь, внизу, –
наливные, красные
к себе зовут,
весело подразнивая,
вот – бурые, а там –
малиновой спелости,
со стеблей развесистых –
нагнись и хватай.
Прыгают в руки,
тяжёлые, сочные,

в ящики льются
струями солнечными.
Грузовик кряхтит
под грузом драгоценным.
– Ничего, крепись –
останешься целым!
Разошлись, горячи,
аж ботва качается.
Но дошли до межи –
поле кончается…
Будто, назначая,
не нашли легче!
Не учло начальство
наши плечи.

Снова полон автобус. Усталость –
где там! Песни взахлёб орём.
– Стойте!
Солнце на небе осталось!
Как, ребята, сорвём?
Сорвём!

август 1963

шефский выезд

Нас в грузовике – пятнадцать.
А дорога
                в ночь вплетается.
Дребезжа, борта запели,
на ухабах скаты: «У-ух!»
Ветер хлебный, переспелый,
перехватывает дух.
Нависают зёрна звёзд
над озимой пахотой
и, пронизывая воздух,
мягко в землю падают.
Месяц ходит, высевает,
не спеша и важно,
чтоб не мёрзнуть, надевает
облако как ватник.
А поля бегут, бегут,
фарами разрезаны,
а хлеба зовут, зовут,
до звона перезрелые.
Наших рук они заждались,
жилистых и добрых.
Но дорога раскачалась,
распрыгалась, долгая.
«Эй, водитель тихохода!
Слышь? Шофёр!.. Он что там? Спит?!»
А навстречу нам летит
спящий силуэт колхоза.
Завизжали тормоза.

«Ну, слезайте! В поле завтра
захватите свой азарт!»
…ночь, сквозь сон, густа, тягуча.
И уютен сеновал
с сеном, мягким и пахучим.

* * *

Деревушка на холме,
 в ней избушек два десятка,
и картофельные грядки
распирают ряд плетней.

А поодаль – лопухи
и колючки, и крапива.
И – оранжевые дива –
горлопанят петухи,

но допёк их солнца шар,
и уходят в тень от зноя
медленно, как с перепоя,
крыльев унося пожар.

на кубенском озере

1

Ух, как за нами следили приставами
доброжелатели, нахохлясь, пристально!
Как они ахали, как они охали
многозначительными вздохами!
Их щёки – вышитые подушечки.
И про тебя: «Пропала душечка!»

О, обыватели,
чужих костей перемыватели!
О, соглядатаи!
Так бошки сплетнями забили,
что в туалет сходить забыли.
А мы на них рукой махнули,
мы к озеру с тобой махнули.

2

А снег навис, повеял холодом,
в ветвях меж листьями запутался.
Мотор затарахтел, запущенный,
и – мы с тобой уже за городом.

И вот как будто бы поднялись
замедленно и просветлённо:
автобус наш жёлто-зелёный
парил над белыми полями.

Галдя и крыльями листая,
скользя на заоконном фоне,
грачиная отстала стая,
растаявши на небосклоне.

3

А ветер шпарил полей просторами,
словно пришпоренный,
свистя, сквозь рощи продирался.
Берёз обобранной наготою
он похвалялся.

А среди хвои – дрожа листвою,
и боязливо, и сиротливо
осинка, выкрашенная хною,
одна скулила.

Над перелеском –
крыл журавлиных переплеск,
и отголоском –
гусей полоска.

А рыбаки тащили лодку
из озера ревущей глотки.
А озеро, взыгравши штормом,
митинговало, словно форум,

и, как мандатами,
плеща барашками лохматыми.

А ты смотрела, удивлённая,
как будто в детство возвращённая,
и прыгала в промокших «корочках»
по хлюпким кочкам.

4

Мы умотались, насквозь промоченные.
Дым костерка струился талией.
Округа стихла, смотрела молча,
как звёзды тикали и вниз слетали,
чтоб я ловил их по полной горсти
и подносил тебе только лучшие.

Лопочешь что-то по-вологодски,
а я не слышу, я просто слушаю.

* * *

Геннадию Фролову

Она мне пела
о древней Вологде,
плыл голос сильный и молодой.
И над лицом её
всплывали волосы,
а зори рыжие –
над водой.
И просып***а***лись, светлея,
маковки,
собора праздничность и простота.
И гулкий колокол
века отмахивал,
свой гомон бронзовый
распластав.
Удары плыли,
гудя раскованно,
в них стоны слышались
и голоса,
ступали ссыльные,
брели раскольники,
кто с верой в землю,
кто - в небеса.
Над колокольней
печаль качалась,
и песня таяла
у озерца.
…она не знала
её начала,

она не знала
                  её конца.
И прислонялась ко мне
                  усталая,
с тревогой к давнему,
                  к темноте.
Но утро вспархивало
                  над устами,
и, в сосны торкаясь,
                  сгорала тень.

северное сияние

Я понять тебя очень хочу,
биотоков ли, мыслей слияния…
Ну, какому, скажи, толмачу
объяснить этой ночи сияние!

Словно занавес неба раскроется,
ночь полярная ярко расколется.
В Мончегорских озёрах околичных
заплутался луны околышек.

Сквозь морозное колыхание –
иней, словно твоё дыхание,
и деревья, как ты, в белых шубках.
Наша встреча, поверь мне, – не шутка.

Не скупись, не таи, не гнети! –
я разведал твоё обаяние,
ты и есть этой ночи сияние,
ты и есть этих мест магнетизм.

Можно? – тихо сейчас закружим,
я возьму твои зябкие плечики.
Разреши быть врачом твоим, лечащим
одиночество в этой стуже.

Ты горишь, ты дрожишь – от мороза?!
Ты прощаешься вместо ответа.
Ты мне снова себя наворожишь.
Ворожи-ворожи! Но мне-то –

может, скажет сиянье «драпри»
семицветной пляской по небу,
как прочесть твою грусть и нежность,
как мне север в тебе растопить.

1964

баллада о медведе

Памяти дяди моего –
заполярного охотника и рыбака
Григория Кузьмича Сивогорло

Он бродил,
хозяйственно ступая.
Косолапя мощными стопами,
он по лесу шастал
и по тундре,
над округой царствовал,
лютуя.
И по роду
не был утончённым:
оленихам рвал хребты точёные.
И, окрасясь ветрено и ало,
мхи о нём расшёптывали славу.

Он в тот вечер выследил оленя,
и к горе, что вдалеке белела,
гнал его надёжно
вдоль низины…
но,
впервые
изменив повадкам,
вдруг остановился:
резкий, синий
растекался дым
с его поляны,

а над ней –
зловеще,
рвано,
как куски мяса,
качались костры.
Кто-то передвигался возле них
на задних лапах.
Были незнакомы и остры
запахи,
а звуки – не схожие
ни с рёвом,
ни с воем.
Он непривычный воздух нюхал,
пофыркивая носом мокрым,
и заворчал протяжно, глухо,
раскачивая злобно мордой.
И, пробуждая баса
лаву,
пошёл на шумную ораву.
Они притихли, повернулись,
а он уже – на всём бегу…
Но что-то красное метнулось,
застряло горячо
в боку.
И задышал отяжелело,
ещё вперёд бежать стараясь,
но ярость, боли покоряясь,
тоскливо покидала тело.
Бессильно оседал

и мутно
глядел,
и различал: костры ли
горели
или луг морошки
сочился по его зрачкам,
и гул подкатывался смутный,
и то ли прорастало утро,
или закаты шли к ночам.

Луна взошла глазищем рысьим,
и звёзды нудью комаров повисли,
в ноздри влез знакомо
зябкий ветер,
и оленя бег пронёсся где-то,
и река под белою горою
билась о кремнистые пороги.
Но опять,
настойчивый и горький,
дым першил и едко скрёбся в горле.
И просился рёв.
И колготала
мелкая двулапая порода.

Он поднялся. Боль его шатала.
Уходил он трудно и устало,
уходил в инстинкты и берлоги.

хрустят тротуары

Чем тишина взорвана?! –
хрустят тротуары морозные,
как грядки хрустят капустные
листьями хрупкими,
скрипят тротуары громкие,
как сапоги хромовые,
а снег смеётся, искрится
солнечными икринками.
Мороз нос обстрекал –
лиха погодка,
даже у старика
легка походка.
Ноги без устали
поскрипывают, похрустывают.
Ты только взгляни,
ты только послушай –
снег звенит,
грусть руша!
Но ты, словно в шаль махровую,
зарылась в меланхолию.
Не прячься, брось!
Себя раскрой!
Как горячит мороз!
Как озорует кровь!

Не хочешь с хандрою расстаться?
В веселье не верится?!
Тебе ж только двадцать зим!
Твоими бы глазами снег растапливать!

Вон погода взветрилась,
а ну, побежим!

январь1963

* * *

Ёлка плавная робкая,
а костёр – как гусар.
От шампанского пробка
взлетит в небеса!

Шишек хохот хлопушечный,
блики – вприсяд по снегу.
Что ресницы опущены,
подпеваешь несмело?

А бутыль отпечатана.
Кончен пробки полёт.
Ты сидишь опечалена.
Новый год! Новый год…

* * *

Закружился вихря клёкот,
заплясал на крышах ветер,
скрежеща, и – хлёсты, хохот
плещущихся в окна веток.
Сумасшедшая зима!
Снег взбегает вверх по стёклам,
на все двери дом застёгнут,
в сенцах зябкий свист сломался.

Печь поёт, танцует пламя
огненный и дикий танец,
а в печной трубе – стенанья,
и всё жарче, всё ясней
полыхает на стене
хор оранжевых теней.

И мажорно излучая
зажигающий азарт,
рядом пламя изучают
непритворные глаза.
Вас не чаял я. Вы – случай.
Неожиданный. Заветный.
Вы куда меня зовёте,
на края какого света?!

письмо из февраля

В Москве погода нулевая,
в Москве сейчас скулит февраль,
он хлюпает, воды набрав,
чреды времён не признавая.

Из пасмурных и тощих туч
он цедит влагу еле-еле.
Снег опостылевший тягуч
и вязко тротуар кис*е*лит.

И я – в хандре, как взаперти,
а ты… ты далека настолько! –
туда и почте не дойти.
А некто – близок и настойчив,

и расторопен, и учтив? –
с твоей растерянностью рядом...
Мне до метро сто вёрст почти
плестись по тротуарам грязным.

И ты, наверно, там бредёшь,
колёсных брызг остерегаясь,
погоду гнусную ругаешь,
моих тоскливых писем ждёшь.

* * *

Пурга буранит и кричит,
плетёт у ставень россказни.
Ты стук условный отличишь,
коснёшься губ морозных,

и слов моих восторг рукой
прикроешь тихо, пленница,
и поведет нас за собой
таинственная лестница.

Ты в горенку влечёшь меня,
и скрипнет дверь неверная.
А час такой, когда огня
в дому зажечь не велено,

а миг такой, что всё равно,
и ты – смела безбожно,
и лишь белеется окно,
и лишь глаза тревожны.

А полем слышен лёт копыт,
взыграла вьюга тройками.
И снега пыль, и страсти пыл
нас мчат шальными тропками.

Затворница, на что пенять,
чем счастье вдов оплачено?..
И у меня, и у меня
судьба бедою схвачена.

Гулёна, неженка, княжна,
шампанская сообщница,
как ты нужна мне, как нужна!
…А снег метёт, полощется.

Мы перед кем с тобой в долгу,
когда в крыластых розвальнях
сквозь снег и поле, и пургу
мчим к рощице берёзовой.

* * *

Зачем у женщины другой
твоя открытая улыбка?
Скользит непрочный мой покой,
и мыслям – боязно и зыбко.

А смех – всё ближе, всё звончей…
Я рад знакомому звучанью.
Но эта женщина зачем
глядит с особенным значеньем,

и смех, лишенный простоты,
зачем в её губах намерен,
зачем он дерзок и неверен?!
О боже, как смеялась ты!

* * *

Март. Снег в помарках.
Грач в чёрном фраке
сук деловито ломает,
про зиму:
Вра-ки! Вра-ки!
Зима похудела, усталая;
ей под забором истаивать.
И грач нагоняет страх:
Крра-ах!

* * *

Март набухает хрустальными каплями,
веткой нальделой стучится в окно.
Встречи с тобою… Куда они канули?
Как это было давно!
Соединила ли нас – неприкаянность?
и недоверье ль? – сумело разнять…
Где ты осталась статуей каменной? –
мне и теперь не понять.
Где мы налгали? – в разрыве? во встречах ли?
я ли не прав? или ты не права?..
Новая милая, как ты доверчиво
старые скажешь слова!
Месяц мой март, мы с зимою прощаемся.
Веткою ветер скребётся в окно.
Сердце на круги своя возвращается.

Да возвратиться ему не дано.

* * *

В мартовское утро весть пришла врасплох.
Он, страны властитель полномочный,
он – отец, учитель, триединый Бог –
отошел в объятья ночи.
Было в этом что-то неподвластное уму
(безоглядность веры сл*е*па).
Страх сковал людей. Теперь конец всему!
И восход взирал на сироту-страну
гипсовым владыки слепком.
Саркофаг по воплям плыл
и по костям…
А над рассветавшим миром
поднималось солнце, яростно блестя
лысиною нового кумира.

1964

* * *

Утро ни серое, ни голубое,
тускло залатано облаками.
И, словно в спешке ремонта – обои,
празднеств вчерашних сдирают плакаты.
И, будто пьяных, что ночью потрёпаны,
за ноги древков швыряют в машины
опрокинутые портреты,
наспех написанные фальшиво;
взгляды их косы, взгляды их пристальны –
в лицах идущих ищут заметить,
как они приняты?
кем они признаны?
или их завтра тоже заменят?..
Рушась, трещит трибуна дощатая.
В лужах,
как скатерть в пятнах вина,
площадь изляпана
                и беспощадно
смята нахлынувшим топотом дня.

сентябрь 1964

* * *

Мир в сущности не изменился –
едим мы тот же хлеб ржаной,
и, в день делами притомившись,
плетёмся под вечер домой.

Не изменилась мира сущность,
хотя сквозь правильность речей
не сразу различишь кощунство
перерождённых сволочей.

Мир допотопен, как заплата.
Его латай или взрывай,
его в цепях тащи на плаху –
он всё равно возьмёт реванш.

И, следуя спирали кода
(вчера был свет, сегодня – тьма),
опять на смену вольных сходок
прут тирания и тюрьма.

И, кто ни властвуй, кто ни правь,
бряцать посулами – напрасно:
на голову, на ноги ставь –
мир всё равно шарообразный.

январь 1966

разлили вино на асфальте базарном...

Зима идёт, и тощая земля
В широких лысинах бессилья…
Е. Баратынский

яростный январь

Александру Никитину

Ты видел ли луну? –
плыла в закатном небе
над синею землей
холодная планета,
и тёмный диск мерцал
пронзительно-морозный,
и нарождался серп,
он был, как знак вопроса.
Вдоль улицы народ
спешит в тепло уюта.
«Прохожий, подожди!..»
Нырнул, как в норку, в дом –
здесь мир его забот,
пристанище, каюта.
И снова ты один
в сомнении своём.
Попробуй прокричать –
слова о воздух лязгнут,
попробуй прошептать:
«Пойми, мы рождены,
чтоб в яростный январь
не скрыться за боязнью».

Испуганный ответ:
«Оставьте, вы больны».
Ты видел ли луну? –
над смутною землёю,
над страхом городов,
над деревенской болью,
над бедами –
крива,
как полный рот сарказма.
И был суров закат,
и сух мороз, как спазма.
И в этот смутный час
смещенья тьмы и света
любимая страна
покрыта коркой льда.
И захлебнулся пульс.
Застопорился ветер.
Крик на лету повис.
Остекленела даль.
Но неотступна ночь
с бесчисленностью звёздной –
мерцающих следов
трассирующих пуль,
нависших над тобой.
Хотя давно известно –
не позже, чем с утра
всплывает солнца нуль.

Ты видел ли луну? –
плыл свет её убогий
над сонною землёй,
уставшей от тревоги,
и был прозрачен серп,
и – призрачно сиянье.
И в этот час ничто
надежду не вселяло.
И чёрен был январь,
бесснежный до бессилья,
и чёрен был восток,
безоблачно высок,
и прочен горизонт:
за ним
пурга бесилась.
Вверху – луны курок.
Хоть подставляй висок.
Никто не прибежит.
Спят люди беспробудно.
На тысячи замков
дома затворены –
ведь, видно по всему,
мороз ещё пребудет,
и, видно по всему,
далёко до весны.

январь 1969

* * *

Сизый ледяной восток
выкатывал боль своего зрачка,
и взломанный домами горизонт
побагровел меднее пятака.

И в боли своей безразмерной – на вырост –
вдруг свод на волдырь показался похожим,
и день наполнять стала ярость нарыва,
и иглы мороза вонзились под кожу.

И люди из жалких жилищ своих вышли,
одежды и лица их были печальны,
а солнце катилось с беззвучной одышкой,
светило негреющими лучами.

Тянулся в зенит холодеющий глаз,
с тоской о немыслимом апогее.
Кристалликом робким снежинка зажглась,
но ей никто не поверил.

1973

снег в москве

Он медленно планировал, снижаясь,
неискушённо чист, как детский вскрик,
в высотные ущелья погружаясь,
чтоб как-то улиц черноту прикрыть.
Спускался на бульвары, на обочины,
спускался просветлённо, без боязни,
а люди, чем-то личным озабочены,
не замечая, смешивали с грязью.
Не слышали они, шагая буднично,
как он кричал, не веря, под пятой,
как он хотел всю многоликость публики
одаривать своею чистотой.
И всё летел с высот к земле заманчивой,
восторженный своею новизной,
ложился, словно лепестки ромашек,
и озарял весь город белизной;
сгорал, встречаясь с детскими ладошками,
задерживался плоскостями кровель
и плавился под шинами, подошвами,
водой захлёбываясь, словно кровью.
Наряд снегопогрузчиков захватами
его сгребал и сыпал на машины,
цепями кузова зловеще клацали,
моторы рёвом крик его глушили.
И увозили спешно, как преступника,
и верили, что снег, по сути, – чёрный,
и сваливали за чертой доступности,
а он мерцал белками обречённо.

И тротуары голые лежали,
дрожали, коченея, на виду.
А снег всё шел и, медленно снижаясь,
нёс городу и людям чистоту.

февраль 1966

зимний сад

Эмме Левиной

В тумане иней зарождался,
в сад напряженный опускался
и вишен чутких прикасался.
Ни ветерка, ни дуновенья…
Но силой скрытого движенья
делилась вечность на мгновенья.

А в доме теплотою пахло,
свет плавал, словно жёлтый бархат,
и девочка играла Баха.
Срывалась из-под рук беспечных
лавина звуков быстротечных.
Мгновенья складывались в вечность.

Бах величаво разражался.
На вишнях иней нарождался.

* * *

Евгению Пашину

К привокзалью подбираемся гуртом,
пешим ходом. Убелились липким снегом.
Скоро поезд. Постоим и подождём,
согреваясь, сигаретами и небом.

А по площади пульсируют такси,
от Садового подфарники слезят,
лихо выхаркнув бензиновый токсин,
перевизгивают с шиком тормоза.

Ожидаем. Зал вокзальный стоязык,
суматошен, суррогатно величав,
в нём кочующему чуется призыв
на колёсных колотящихся речах.

Отдыхаем. И дыхания волна
возбухает, как буханка на поду.
И курсирует от Курского страна
ближе к югу, там, где вьюгам не подуть.

Пассажирский бум, как ГУМ или Пассаж –
здесь такой же с мест срывающийся раж
дефицитом взбудораженной толпы.
Ражем впихнутый в вагон влетишь и ты.

Вот и поезд. И, наверно, всё равно –
пофартило тебе с местом или нет.
Ты уже глядишь в летящее окно,
где неузнанный пронёсся километр.

* * *

Геннадию Попову

А снега бесконечные навзничь легли,
необычайно белы,

а леса, верноподданные тишины,
необычайно черны,

а задохшийся свод перед бурей висел
необычайно сер,

а Россия печали свои несла
невыносимо светла.

зимние мотогонки

Геннадию Майорову

На шлемах – блеск,
на треке – треск,
дорожек ледяной ревун,
и – ошалелый переплеск
трибун.

Шипы пронзают льда накат,
ведь у ребят – рули в руках,
как будто бешенство быка
схватили за рога.

На виражах швыряет в снег,
и ты наклон держи –
ведь стартовал ты на успех,
на риск
и – виражи.

И ветер плотно бьёт в глаза,
забыты тормоза,
слились трибуны, крики,
а метры – как прибитые;
на месте метры топчутся
под вой трибун истошный.

…На пьедестале он стоял
нахохлен и неловок,
как будто бы в руках держал
всю тяжесть тренировок.

* * *

Мне в открытое окно –
первый дождь.
На ладонях заплескалось чудо влаги.
И откуда эта праздничность отваги,
и откуда это счастье –
не поймёшь.
Мимо на пронзительных шасси,
фарами по струям полоснув,
ночь бежит по зеркалу шоссе.
Зеленеют пестики фонариков.
И пахнуло скрипкой из динамика…
И окно распахнуто в весну.
Не уснуть теперь мне.
Не уснуть.

* * *

Холодно. Цветут сады.
И плывут, необычайно
смутный город освещая,
тучи белые, как льды.

Холодно с утра. А днём
потеплеет, запылится,
растревоженные птицы
замелькают за окном.

Ночь займёт леса свои.
Ты откроешь дверь балкона,
остановишься, прикован:
там шалеют от любви
соловьи.

думчино

Анатолию Лесных

Мы пообшарили весь лес,
грибов собрали два десятка,
погоду обругали всяко,
поскольку дождь хлестал с небес,
и вышли к станции, а там,
ловя транзисторами твисты,
скопились полчища туристов,
и зальчик лопался по швам.

Мой друг и я сквозь чащу тел,
сквозь гвалт пробились в дальний угол.
«Присядем», – предложил я другу,
но он присесть не захотел.
Клубился пар, струился дым,
и, полуголыми сверкая, –
невозмутимо-молодая
с невозмутимо-молодым.

И друг стоял в своём углу,
орлиным оком озирая,
ту, что без платья, озорная,
и думал: «Всё же мир не глуп».
Он видел линию души
За талии её изгибом.
Предположил: «Она погибла».
«Погибла» – так предположил.

А тот, что тоже озорной,
в загаре весь, в нейлонных плавках,
изгиб немыслимый облапил,
ну, обнял талию рукой.
Мальчишка был наивно-глуп,
и для неё – неотразимым.
Но мы то с другом – не разини,
мы сразу всё сообразили,
прошествовали к магазину
и пропили последний руп

СОН

День был сух и зноен. Ночь – душна.
Наползла. Накрыла. К горлу… давит…
Потолок ли движется? Стена?
Из дому скорее –
                дальше, дальше!
Речка разметалась. Трётся о пески.
Ночь на мелководье щиколотки моет.
– Отпусти! – кричу ей, – отпусти!
Но бессилен сип из горла
                из немого.
Лодка… тороплюсь… гребу…
в Оке
глубина…
                нырнуть? – мол, воля случая…
Я весло сжимаю, но в руке
вздрагивает пёрышко скрипучее.
А бумага, как в бреду, – бледна.
Воздух льётся в фортку – густ и влажен.
Эта ночь бездушна и душна,
чтоб вдохнуть, нужна – не горло – скважина.
А строка – на пёрышке – суха,
бугорком на кончике загоркла.
Вскакиваю – настежь, настежь створки!..
Чуть светает. Слышны вопли петуха.

жаворонок

Он пел
и всё отвесней
взбирался вверх по песне.
Как жаворонок пел! –
взахлёб и в перезвон
заливистым запоем,
и над июньским полем
озоном плавал звон.
И слушали
трава,
ручей, овраг и жимолость,
с какою одержимостью
он к высоте взывал.
Он в небе растворился…

А песнь
лилась,
творилась,
и он всё ввысь летел,
и звуки выше плыли.
И долго слышно было,
как жаворонок пел.

в агурском ущелье

Это сколько же надо амбиций,
чтобы на протяженье веков
вниз бросаться самоубийцей
на гранитные лбы валунов!

Но зато в нём такая отрада,
столько в нём искромётной игры!..
Чтоб низвергнуться водопаду,
надо горло реке перекрыть.

ноктюрн

Евгению Красникову

Тот причал, тот парапет
я припомнил…
Поначалу
колыхнулся лунный свет,
после –
песня зазвучала.
Были странными слова
песни той,
но смутной силой
за собой она звала.
Я заметил,
как красивы
очертанья тишины,
что сгущалась надо мною,
были явственно слышны
даже камушки прибоя.
Были явственно видны
и угрюмо недвижимы
очертания войны
в силуэте равелина.
Но откуда же взялась
слов задумчивая вязь?!
Может, пела эту песню
девушка за Херсонесом,
лунным обликом пленясь?

Или может?.. погоди…
может, у меня в груди
эта песня родилась? –
о надежде, о сомненье…
и звучало откровенье
в том напеве,
в тех словах.
А когда, взъерошив бухту,
ветер утренний пронёсся,
и зарделось в поднебесье
облачко в косых лучах,
вдруг исчезла эта песня,
побледнев, луна потухла,
всё казалось безголосым,
и пустынным был причал.
Лишь прибой вовсю сопел,
Пеной пирс полосовал.

Я потом всю жизнь искал
тот напев
и те слова.

* * *

Памяти Николая Перовского

Уходят шестидесятники –
кто в ранге, кто неоцененный…
Залеченные авиценнами,
уходят шестидесятники.

…в смутную нашу эпоху,
с годов сдувая полову,
держась до последнего вздоха,
Поэт колдовал над словом.

Он чувствовал – на него
Богово око нацелено,
и слово его панацеею
возвышенной миру дано.

* * *

Памяти
Леонида Николаевича Афонина

Разлили вино на асфальте базарном –
бочку, сгружая, вахлак саданул –
и словно кто площадь
ножом
в азарте
полосонул.
Оно разлилось красновато и тало,
и буйный запах
прощальной агонии
дымился.
Казалось, вино вспоминало,
когда оно в гроздьях
солнце глотало,
а после –
касалось девчоночьих голеней:
хмелящие голени
сок выжимали,
на ягодах
пенистых
звонких
плясали.
Вбирая упругость
отчаянных ног,
крепчало вино.
И будущих пиршеств маячили призраки,
где станет на стол оно, тостами признано.

смерть пророка

Памяти Юрия Казакова

И вот, шагнув через порог,
ко мне является пророк.
В одежде древней, обнищал,
проговорил простудно:
– Вотще я истины вещал.
Не внемлют гласу люди.
Во многих я краях бывал,
глаза на правду открывал.
Но всюду поносили:
«Старо, посол Мессии!»

Устал я. Смертный час настал…

Он отходил, смежив уста.
Над гордою, седой главой
я наклонился, слушая,
как долго клокотал глагол
в его груди придушенно…

Потом газеты принесли.
В них некролог печатался –
мол, мы потерю понесли,
по-дружески печалимся,
скорбим и почитаем.
И значились цитаты –
среди словес,
как острова,
его высокие слова.

* * *

Увозили втихаря,
пряча в ночь чиновьи морды.
При жандармовском присмотре,
с позволения царя,
увозили втихаря.

Рассвело – поперли вскачь.
Кони прядали трусливо,
ветер, дувший, что есть силы,
выл над трактом, над Россией,
словно всенародный плач.

Тот, кто чести не ронял,
подведен под трибунал.
Неподсудный камер-юнкер,
гроб Ваш сквозь февраль и вьюгу
дядька безысходно гнал.

Гнев не сбавив с алтаря,
церковь, угрожая адом,
автора «Гавриилиады»,
не надевши стихаря,
хоронила втихаря.

Знать, неведомо столпам –
где могилу ни копай,
время ставит всех по росту,
и не зарастёт тропа
к святогорскому погосту.

демон

То было в звёздный час, в час вечности бездонной,
Вселенная плыла, и Млечный Путь сиял,
я пролетал Землёй, в своей тоске бездомной,
под твердью голубой, над сушею всея.

То было в час земной. Мечтами утомляясь,
дитя, ты пребывала буднично светла…
Ты знала ль? – что тебя, средь смертных выделяя,
я зрю, уже креня шумящие крыла,

что миг, и – пред тобой мой лик, дотоль сокрытый,
что взгляд, и – ты послушна, ты в моём плену,
и – трепетны уста, и – пламенны ланиты,
и – ты уже близка к паденью своему,

к парению души, отвергнувшей земное
и прописей догмат, и возгласы святош,
и ты теперь – моя, ты – навсегда со мною,
для всех – ты умерла, но для меня – живёшь.

И что же? Тщетно всё. Я над тобой не властен,
не в силах я постичь огонь твоей крови,
и слиться не дано моей нетленной страсти
и вздоху краткому твоей земной любви.

в останкинском парке

Памяти
Бориса Леонидовича
Пастернака

Жара, дорожки солнцем выпачкав,
стволы – в смиренность погружала,
и воздух самой знойной выпечки
был подан на листах лужаек.

Сник ветер и рассредоточился
по лавочкам-пенсионерам,
там света пятнышки дотошные,
в тени, сидели, как на нервах.

А мухи, зависая, таяли,
где куст к губам приставил палец,
и звуки проползали тайные
и за забором утопали.

И даже лечь, где попрохладнее
хотелось мачте телецентра,
но ей вменялось рядом с храмами
торчать техническим акцентом.

* * *

Не останавливай слова,
когда придут без спросу,
и примется перо сновать
под глазом папиросы.

Увещеваньям вопреки,
оглядкой и опаской
не сдерживай порыв строки,
не ретушируй краски.

Своей души не дай подмять
подобострастью теме.
А кто тебя не смел понять,
и кто решил тебе пенять –
раскланяйся со всеми.
Авось, рассудит время.

...и новый шквал в себе таит

отрывок

Здесь конец земли, начало водной смуты –
зыбкого подобья наших дней.
Волны принесли просоленные путаные
запахи залива, росчерки снастей.
Дышится до звёзд, едва ступил на берег.
Ночь, дельфинью спину изогнув,
бухается в бухту с высоты, с разбега,
и на пирс бросается, пену изрыгнуть.

июнь 1941

И уходили корабли,
на пирсах женщины молчали.
И кромка моря и земли
вдовою горькою качалась.

И опечалено белы
на Графской пристани колонны.
И провозвестники беды –
встревоженных бакланов стоны.

И знала чёрная вода,
чем обагрится город белый.
И в первых выстрелах тогда
совсем не слышалось победы.

день вмф

Парад военный помню я:
мы шли рядами ровными,
и автомат наперевес,
и бескозырка набекрень,
и барабана жёсткий треск,
и праздничный для флота день.

Отмах руки с плеча даём,
как залп, шаги печатаем,
а слева – девичьи глаза,
а справа – взгляды матерей,
и ритм – сердец, и душ – азарт,
и легче – вдох, и жест – скупей.

За рядом – ряд, за рядом – ряд,
у всех парней глаза горят,
за ротой – рота, чёток шаг…
Уже нам скоро, вроде бы,
учеботряды заверша,
идти в моря – походами.

Парад военный помню я:
трибуны переполнены,
проспект Нахимовский – в цветах,
причал – у бухты на краю,
и корабли на якорях –
стоят в кильватерном строю.

* * *

Перед выходом в моря
разъярённый буй нырял,
и казалась мне банальной
бухты мутная баланда.
Разговора рвёт кайму
ветер медленный и мощный…
Ты зачем украдкой морщишь
нос, в плечо моё уткнув.
Твои вздорные слова
буду вспоминать, лелея,
буду снимок твой, робея,
из кармана доставать.
Это будет впереди.
Расстояния наруша,
голос твой я буду слушать.
А сейчас - не мучай душу! –
уходи.

Убежала. Сгоряча
не ответив, не простившись.
Почему-то стали тише
волны биться о причал.

отбой тревоги

В минуты короткие перекуров
мы выбегаем на ют из рубок,
палуба гулкая ходит упруго,
море предутреннее сурово,
в нём воронёной стали оттенок.
В эти мгновенья хочется верить
в смутный, далёкий, милый образ –
нас не забыли? о нас тоскуют?..
Курим. Молчим. И смотрим в море.
А в огрубевших телах и робах
тихо оттаивает нежность,
и, словно рыбка в клюве баклана,
судорожно трепещет надежда.

в феодосийском заливе

Плясало море в бликах дня,
к закату – палево линяло
и, неуёмно пляс продля
за полночь, лунами пленяло.

Вздымало море мощь глубин,
к рассвету пятилось устало.
Но горизонт кричал, грубил –
там солнца глыба нарастала.

А море, блики заменив
на гладь атласно-ленной бухты,
изнемогало на мели
в тоске неистовой о буре.

* * *

Остуди мой лоб ладонями
и дыханьем охлади,
отведи печаль бездомную
и от боли огради.

Я устал от одиночества,
от усердия ханжей.
Как ничтожны их пророчества
перед нежностью твоей!

Я твои глаза внезапные
постигаю, удивлён.
В створки окон входит за полночь
сквозь твой шёпот
чуткий сон.

молитва

Перед грустью ль оробею –
сбереги меня, любимая,
одиночество ль нахлынет,
и тоски хлебну сполна –
сбереги.
Я на коленях перед светлым твоим именем.
Я мужчина – я слабее,
потому что ты – нежна.
Я молюсь перед тобою.
Что мне сплетни! Что наветы!
В этот миг первоначально оживляются мечты…
Встанет утро – тянет к свету,
встанет вечер – тянет к свету.
Сбереги тот свет прозрачный,
над которым властна ты.
Пусть он светит,
пусть горит он путеводною звездою
надо мною,
над тобою,
выше славы и молитв!..
Луч надежды, дай мне силы,
дай мне счастья – быть собою,
дай мне воли для свершенья
лучших замыслов моих.

А когда в прозренье горьком
осенит, что верил слепо:
где струился свет высокий,
вдруг не взвидится ни зги,
и предстанет не богиня,
а её неверный слепок, –
я всё так же буду верить,
повторяя: «сбереги!»

гроза над ялтой

Ночь ликовала.
Круша,
гром перемалывал горы.
Слепла от вспышек штора.
Ливень натужно дышал.
О как метнулись твои
очи,
в испуге огромны,
вскрик на раскате грома:
«Милый, грозу затвори!»
И –
прижалось ко мне
гибкое смуглое тело…
Ветер гудел оголтело
на дождевой струне.
«Милая,
что за беда?!
Это играют горы,
это сбегает в море
душного лета вода.
Милая,
вспыхнут с утра
склоны зеленой огранкой,
грянет разбуженный ранью
неистовый птичий хорал!..»

Небо в разрывах тряслось.
Поток
грохотал
камнями.
Гор силуэт окаймляла
молний белая злость.
Сосен глухое стенанье
стыло стеной.
Озверело
море внизу ревело,
словно бык на закланье.
Буря округу несла,
реяли мрачно предгорья.
Бог мне
с тобою послал
это селенье продрогшее?!
Словно воздал за грехи
щедрую мзду Всевышний…
Цепко держался домишко
на перевале стихий.
Были ему не страшны
непогоды лихие:
нашей любви стихия
крепила
четыре
стены…

Что в эту ночь я плёл,
вдруг обретя дар речи!..
С рассветом,
и впрямь,
доверчиво
штиль в нашу бухту забрёл.
Туч разбежалась орда.
Ветра окончились гневы.
«Милая,
моря орган
пробует утра напевы…
Вот и восхода разбег
флагом сдающимся выброшен.

Это затем, чтобы нынешним
утром,
проросшим сквозь моря купель,
с солнцем,
что небо лицует,
ты засыпала, откинувшись,
легкий пушок на губе
чуть припухал в поцелуях…»

А в пробужденном дворе
таз с дождевой водою
булькал,
и самодовольно
пёс зевал в конуре.

* * *

Пляж под солнцем черноморья,
загорелые тела.
Свысока и черноброво
эта женщина звала.

И когда она вдоль пляжа
шла, играя красотой,
сквозь десятки жадных взглядов –
проходила, как сквозь строй.

Ах, как женщина манила,
взор её горел, корил!
Но – вышагивал ревниво
следом муж, как конвоир.

«Что мне, муж, твои ограды?!
В этот бархатный сезон
всё равно тебя ограбят –
я сама скажу «Сезам…»

Он рыдал, щека дрожала,
клялся: «В порошок сотру!»
В ночь – к спасателю сбежала.
Муж хватился поутру.

* * *

Ты появилась из волны,
и на берег взошла наядой,
и пронесла надменность взгляда,
как звук натянутой струны.

И догадаться я не мог,
кому из смертных ты – наградой,
и почему ты села рядом
на влажный от волны песок.

И догадаться я не смел,
насколько взгляд твой станет жарким,
насколько воспылает ярко
мой тусклый будничный удел.

* * *

В баре, где хрипла истошная музыка,
как мне хотелось с тобою остаться!..
Ты появлялась, танцорами узнана,
ты ускользала в празднество танца.
Взгляд на меня
мимоходом скосила
и – понеслась,
удила закусила.
Как ты подвижна!
Как сложена!
Чья ты любовница?
Чья ты жена?
Что ты партнёра усмешкой спросила?
Что тебе он в этот миг говорит?
Как ты свободна!
Как ты красива!
Как в тебе бьётся раскованный ритм!
Бармен за стойкой выпялил бельма,
перекрывая динамиков вой,
крикнул с восторгом:
«Женщина-шельма!»
Музыке в такт закивал головой.
Словно поблёкли,
словно пропали
рядом с тобою
прочие пары.

Что моя ревность!
Любуюсь тобой.
Прима-танцорка!
Прима-любовь…

Ты подойдёшь после танца ко мне,
кофту со стула возьмёшь, запых***а***вшись,
скажешь:
«Послушай – внизу у камней
как одиноко море вздыхает…»

* * *

Заплывала далеко.
«Догоняй!» - с волны кричала.
Было плыть к тебе легко,
только сердце замирало.

За дозволенность границ
безопасного купанья
заплывали. Был сродни
моря ритму ритм дыханья.

Вырывались из удил
осторожности наивной.
Берег дальше уходил,
ты смелее становилась.

Только взмах руки, как взмах
крыл парящего баклана,
и свободная волна – ах! –
помощницей была нам.

А под нами – глубина.
А куда плывём, не ведал.
А в твоих глазах – волна,
перемешанная с небом.

Вслед, срывая голоса,
мегафоны донимали.
Что хотят они спасать,
мы с тобой не понимали.

Мы с тобой о них забыли.
Ты потом на берегу
говорила:
«Вот заплыли!
Отдышаться не могу».

* * *

Нас из лета сразу в осень
этот поезд увезёт.
Чемодан на полку бросив,
адресок, прощаясь, спросишь,
и в блокнотик – пару строчек,
свидимся, коль повезёт.

А дорога прёт над морем
Вдоль нависших тесных гор.
Червячка чайком заморишь,
и в окно, не видя, смотришь.
В голове твоей – раздор.

…Было солнце задарма,
сантиментов – кутерьма,
и благоволили нам
и затишья, и шторма
(изобилен южный пояс).
Да не вышло встречи, то есть
субтропический роман
до завязки прохромал
в неоконченную повесть.

«Лета песенка пропета»…
Вдруг в окошко разглядишь:
по прохладному одеты
степь, леса. На парапетах,
на платформах, на буфетах
листьев желтые следы.

В остывающую осень
мчит вагон. И жизнь летит.
Мимо – станции проносит,
и по небу, в ветре, косо –
промелькнут, как будто проседь,
нити длинных паутин.

Твой вокзал тебя встречает.
На платформу соскочив,
84
заторопишься, ручаясь,
что не помнишь воплей чаек,
что совсем не замечаешь –
что в тебе сейчас кричит…

Снова дом твой не согретый,
снова в нём ты одинок.
И стучит, стучит висок:
«Было ли, вообще-то, лето?»

* * *

Выйду, ссутулясь, в озноб листопада.
Лужицы хрупко сверкнут подо льдом.
Вспомню слова твои: «Я тебе рада».
Вспомню, да только поверю с трудом.

Низкое небо на лес наплывает,
скупо оно, как прощанья твои.
Лето сгорело. Листва отпылала.
И одиноко чернеют стволы.

* * *

Ты сокрушалась
«Считать разучилась…
Час ли мгновенье ли – не распознать.
Как наваждение с нами случилось?! –
Ночь пронеслась, а не хочется спать.
Кто это времени дал ускоренье?!
Остановись, звезда, над землёй.
чтобы слова мои не устарели –
«как не хочу расставаться с тобой!»

Я попытался тебя успокоить:
«Мы не сумеем звезду удержать…»
Что же такое? Что же такое?! –
Жизнь пронеслась, а не хочется спать.
Что за бессонница спутала сроки,
перемешала ночи и дни!..
Как ты настигла мой час одинокий?
Как мы во времени разделены!

Ты меня сбила на сентиментальность,
я позабыл, что такое года.
В чём твоя сила? В чём твоя слабость? –
всё это просто: ты – молода.
Пусть наша встреча в самом разгаре,
пусть и звезде нашей жить до утра,
но для тебя – это время разгадок,
а для меня – это время утрат.

* * *

«Время сливается, - ты ликовала, -
слышишь, пахнуло травой
и судьбой!
Только бы утро не наступало –
я не хочу расставаться с тобой».
Что нам останется? Утро настанет.
Мы не заметим с тобою, когда,
наше мгновение тихо оставив,
в небе растает наша звезда.

* * *

Ещё вчера я был в неведенье,
весна казалась невидимкою,
но поутру она наведалась
так, что к полудню лес Медведевский
покрылся розовою дымкою.

А я – заботами заверченный,
всё без толку, как воду в ступе,
толку дела с утра до вечера…
Май на носу, а всё не верится,
что, наконец, весна наступит.

Ворвётся в дверь, заполнит комнату
и, как когда-то ты, на память
в том хрустале на подоконнике
оставит алые тюльпаны.

* * *

То набегает мерный гул
и ударяется о горы,
и – величаво, как в соборе,
на одиноком берегу,

то растворяется вдали…
Но горизонт в немом величье
изломом вторит крыльям птичьим
и новый шквал в себе таит.

Протарахтит порой баркас.
И снова волн неразбериха.
А ты глядишь – как в первый раз.
А на душе – светло и тихо.

евгений пашин

удивление после прочитанного

Январь 1968-го... Именно тогда случилось мне взять в руки новогодний выпуск заводской многотиражной газеты «Победа» и прочесть строчки

Ёлка плавная робкая,
а костёр – как гусар.
От шампанского пробка
взлетит в небеса!

Почему ёлка, во все времена колючая, вдруг - «плавная», а костёр - «как гусар»?.. Но - запомнилось!.. И имя автора, и « шишек хохот хлопушечный», и рифма «по сн***е***гу - не смело», и в кажущейся краткости вполне ограниченного предками действий сюжета - его незавершённость...

А бутыль отпечатана.
Кончен пробки полёт.
Ты сидишь опечалена.
Новый год! Новый год...

Наша встреча с Дмитрием Порушкевичем состояласть лишь несколько лет спустя. Наверное, журналисткая профессия объединила нас, но нечто большее, мне думалось, питало наш взаимный интерес, доверие и обязательность, наше постоянство в бесонечно меняющихся обстоятельствах, заставляющих многих и многих, особенно в последние годы, подчинятся ***иным*** законам и правилам.

Мне не просто сохранить объективность в моей попытке высказать своё суждение о том, что было опубликовано или лежало в писменно столе Дмитрия Порушкевича, что было не раз прочитано мною и что читаю я вновь, - поскольку мы всегда были на «ты», сегодня и сейчас мне кажется, что между нами вообще никакой дистанции, а – «большое видится на растоянии» ... Впрочем, дистанция нами проёден-

ная, - это вполне ощутимый опыт, дающий нам, и мне, в частности, некоторое право оценивать, согласно моим мыслям и чувствам, по моим меркам и критериям, без сентиментальности и пафоса, то, что узнал, открыл я в этом человеке, в личности, в характере, принял как что-то близкое мне по духу, удивляющее откровением, неожиданность, и, вместе с тем, понятное и необходимое.

Шутка ли, чуть ли не сорок лет он отдал работе в редакциях газет, телевидиния и радио, Дмитрий Порушкевич был первым редактором нового, возвращённого в начале 90-х, « Орлосвского вестника». Что такое газета? Не будем заглядывать в справочник и словари, у я-то знаю, газета - прорва, как и радио, и ТВ, - нечто, никогда не наполняемое, требующее новой и новой информации, репортажей «с колёс», интервью «срочно в номер!», выступлений политиков, экспертных статей, журналистских корреспонденций и очерков. Нет перерывов в этом процессе. Журналистика поглощает всё. Все силы и остатки свободного времени тех, кто ***делает*** газету или эфирвую програму, кто серьезно, по-настоящему профессионально этим занят. По крайней мере, так было. До стихов ли, до поэзии?.. И, тем не менее, «поэтическая рубрика» всегда находила себе место в столбцах газетных полос, на страницах журналов, а если мы откроем сборники поэтов-шестидесятников, мы тут же ощутим в их художественных творениях публицистическую интонацию. Это пульс времени. Стихи читали в студенческих аудиторнях, в цехах, на стадионах. Не отсюда ли, из того времени, — ритм и рифма, и образ, и тема в стихотворной строке Дмитрия Порушкевича!.

Из тех же, шестидесятых, — «Зимние мотогонки» (я привожу лишь отрывки):

На шлемах – блеск,
на треке – треск,
дорожек ледяной ревун,
и – ошалелый переплеск
трибун.
Шипы пронзают льда накат,
ведь у ребят – рули в руках,
как будто бешенство быка
схватили за рога...

Или — живописный сюжет, с посвящением Леониду Николаевичу Афонину...

Разлили вино на асфальте базарном –
бочку, сгружая, вахлак саданул –
и словно кто площадь
ножом
в азарте
полосонул.
Оно разлилось красновато и тало,
и буйный запах
прощальной агонии
дымился.
Казалось, вино вспоминало,
когда оно в гроздьях
солнце глотало,
а после –
касалось девчоночьих голеней:
хмелящие голени

Стихотворение «Не останавливай слова...» отмечено датой «1966», в этом его конкретность. Но это не нечаянная мысль, не случайное слово, вдруг пришедшее «без спросу». По сути это взгляд в будущее, жизненная и творческая программа, характер личности. Это многое объясняет. И всегдашнюю несговорчивость Порушкевича, журналиста, редактора, неумение пойти против совести, когда ***чуть лы не сама жизнь*** вдруг заставляет поступить иначе, и особую щепетильность, жесткий принцип в решении, казалось бы, сугубо художественных задач, в выборе темы, выразительных средств, авторской позиции...

Увещеваньям вопреки,
оглядкой и опаской
не сдерживай порыв строки,
не ретушируй краски.
Своей души не дай подмять
подобострастью теме.

А кто тебя не смел понять,
и кто решил тебе пенять –
раскланяйся со всеми.
Авось, рассудит время.

«Уходят шестидесятники..» — в стихотворении, посвящёниом памяти Николая Перовского, о достоинетне и предназначении поэта («на него Богово око нацелено») — пометы и признаки времени, Смысл конкретизирован, казалось бы, документальным фактом первой строки «уходят шестидесятники...», но мир не вмещается только лишь в шестидесятые... И ***слово*** поэта, художника, приносит жизнь в целый ***мир***.

…в смутную нашу эпоху,
с годов сдувая полову,
держась до последнего вздоха,
Поэт колдовал над словом.

Он чувствовал – на него
Богово око нацелено,
и слово его панацеею
возвышенной миру дано.

Перебираю страницы текста... Вспоминаю наши разговоры... Его рассказы о детстве, о жизни в эвакуации с переездами в Чкаловскую область и из Чкаловской — в Архангельскую, о времени военно-послевоенном, о матери, добрейшей женщине, с которой и я был знаком... Помню ее беспокойство, всё — о Диме, о Диме... А ведь была у Димы и бабушка... Вот о ней-то внук Дима, он же Дмитрий Павлович, готов говорить чуть ли не при каждой нашей встрече. О необычайной живости её речи, об удивительном умении из слов кружева плести, изъясняться порой непечатно, но на языке очень простому народу понятном... В такой момент я задаюсь вопросом: «Уж не это ли повлияло на внука, не из этих ли глубин литературный талант произрастает?..» Досадно только, не всё, далеко не всё на этих прочитанных мною страницах, многое в черновиках и замыслах в уложенных в папки записках... И сколько нужно успеть!..

Всякое искусстио имеет свои формы выражения, но, читая стихи Дмитрия Порушкевича, я вдруг вижу не строку, не слово, не эпитет, не метафору, а живописный образ, ловлю себя на мысли, что это натюрморт или пейзаж, где главное — цвет.

Красный... бурый...
Краски бури?
Просто, лист, отшелестев,
ветром сорванный сумбурным,
гибло на землю слетел.

Или, может быть, линия, ставшая рисунком, а то и в несколько штрихов набросок, оживающий вместе с тероем этих строчек.

Протарахтит порой баркас.
И снова волн неразбериха.
А ты глядишь – как в первый раз.
А на душе – светло и тихо.

Как-то однажды задал я, невзначай, между прочим, вопрос: «А не было у тебя когда-либо желания взять, к примеру, в руки краски и кисть?..» — «Почему ж не было? Было. Однажды на картоне даже что-то изобразил», — «Уж не море ли?» — «Море».

Не скрою, бывает, после рюмки-другой поём мы с Дмитрием Павловичем песни морские, а при более широком застолье — вообще молчать не можем. Всё потому, что «стать моряком» — мечта моя детская, несбывшаяся. Зато за плечами Дмитрия Павловича — служба флотекая, Севастополь, и море в его стихах — особая тема.

Парад военный помню я:
трибуны переполнены,
проспект Нахимовский – в цветах,
причал – у бухты на краю,
и корабли на якорях –
стоят в кильватерном строю...

...Здесь конец земли, начало водной смуты –
зыбкого подобья наших дней.
Волны принесли просоленные путаные
запахи залива, росчерки снастей.

Может быть, с моря всё и начиналось, по крайней мере, море стало той очень осознанной и важной частью биографии, образом чувства, мысли, жизни. Вовсе не обязательно проводить параллель между сюжетом литературного произведения и фактом (или фактами) биографии автора. Но само произведение - это уже факт биографии. И факт творения, и впечатления, рождённого этим творением.

Заплывала далеко.
«Догоняй!» - с волны кричала...

Уж не знаю, заплывали ли они далеко или у берега плескались — это я о прототипах (кто-то скажет: «вон чего выдумал!..»), но в папарацци я не гожусь, и литературоведческими исследованиями (поиском прототипов) мне тоже заниматься неинтересно. А интересна мне, может быть, выдумка, фантазия и даже фантасмагория автора, вся эта высшая степень состояния и проявления -— себя и всего вокруг! Мне интересен его обман («да неужто так всё было?»), ставигий вдруг столь удивительной реальностью.

Только взмах руки, как взмах
крыл парящего баклана,
и свободная волна – ах! –
помощницей была нам.

А под нами – глубина.
А куда плывём, не ведал.
А в твоих глазах – волна,
перемешанная с небом.

Вслед, срывая голоса,
мегафоны донимали.
Что хотят они спасать,
мы с тобой не понимали.

Мы с тобой о них забыли.
Ты потом на берегу
говорила: «Вот заплыли!
Отдышаться не могу».

Действительно, не было и нету меня желания подвергать какому-то анализу литературный текст, препарировать живое, живущее. По крайней мере, старался я этого не делать. И то, что вышло, — это скорее «заметки на тему», ремарки, впечатления...

В «Грозе над Ялтой», где, кажется, только стихия и человек, и нужно обязательно прочитать всё с начала, вдруг строчки - в самом конце:

А в пробуждённом дворе
таз с дождевой водою
булькал,
и самодовольно
пёс зевал в конуре.

Откуда взялся этот пёс?.. Этот таз?.. О другом ведь — «Гроза над Ялтой»!.. Но без пса разрушилось бы то, что ***уже*** сотворил автор.

Помню, мое удивление после прочитанного — «Она мне пела о древней Вологде...», — связанное вовсе не с каким-либо или вполне конкретным маршрутом передвижения «с юга да на север, из Ялты — вон куда!..» Скорее всего, написаны эти стихи были в разное время... Я очень обрадовался — узнав об особом отношении Дмитрия Павловича к Вологде, где он бывал, работал... Я же и сам не равнодушен к этому городу и к тому, что «там, дальше» — Кириллов, Ферапонтово... К монастырям, лесам и озерам, переливающимся по речкам, протокам, каналам...

Она мне пела
о древней Вологде,
плыл голос сильный и молодой.
И над лицом её
всплывали волосы,

а зори рыжие –
над водой.
И просып***а***лись, светлея,
маковки,
собора праздничность и простота.
И гулкий колокол
века отмахивал,
свой гомон бронзовый
распластав....

Да, это лирика, но спервых же строк в буквальном смысле ощущаешь нарастающий, меняющийся ритм движения, слияние, смешение красок и звуков, превращение отдельных образов в эпическую картину, в сложный рельеф с пластами времени и пространства... Здесь — другая стихия — хранимая символами, разбуженная лишь памятью и воображением, здесь нет противоречия между настоящим и очень давним прошлым, между историей и теперешним мироощущением человека, замыслом, художественным воплощением и сиюминутным чувством. Здесь — поэзия.

Над колокольней
печаль качалась,
и песня таяла
у озерца.
…она не знала
её начала,
она не знала
её конца.
И прислонялась ко мне
усталая,
с тревогой к давнему,
к темноте.
Но утро вспархивало
над устами,
и, в сосны торкаясь,
сгорала тень.

Есть вещи, к которым не решаешься прикасаться, о которых лучше промолчать — избежать бы «неловких слов и поступков». Мне трудно рассуждать о сокровенном смысле, об интонации, о той интимной сути, которая заключена даже в заголовке — «Молитва». Поскольку за этим словом особое состояние души. Откровение, не нуждающееся в комментариях, в «советах постороннего». Здесь — лирический герой, в моем представлении, он же автор, и тогда это — как прочитать не тебе написанное письмо... И всё-таки...

Перед грустью ль оробею —
сбереги меня, любимая,
одиночество ль нахлынет,
и тоски хлебну сполна...

Эти строки адресованы не только тому, кому, прежде всего, позволено, кто должен их прочитать. Написанное стало предметом литературы, произведением искусства.

Да, стихи, как и музыку, нельзя вольно пересказывать, в них нужно вчитываться, в них нужно вслуитиваться, воспринимать сердцем... Годы нашего знакомства, работы, дружбы (я это слово ни в малой степени не подвергаю сомнению) убедили меня в том, что Дмитрий Порушкевич, человек, внешне спокойный, даже флегматичный, на самом деле, натура независимая, порой нетерпеливая, и энергии воли и характера (не говоря уже о способности творить и мыслить), и обыкновенной мускульной силы в нем достаточно, чтобы решать очень даже серьёзные жизненные задачи. Кстати, велотренажёр в его квартире и пудовая гиря - не случайные предметы обихода. Но я, всё-таки, о другом... Нужно иметь силу, чтобы решиться, произнести вслух: «Я мужчина - я слабее, потому что ты — нежна...» Чтобы обращаться с мольбою: «Сбереги!..» И нуж но иметь в себе веру, надежду и любовь (сильнее ничего не может быть), чтобы написать:

А когда в прозренье горьком
осенит, что верил слепо:
где струился свет высокий,
вдруг не взвидится ни зги,

и предстанет не богиня,
а её неверный слепок, –
я всё так же буду верить,
повторяя: «сбереги!»

«**К**огда мы были молодые и чушь прекрасную несли...», — как прежде, и сейчас поют эту песню, у костров, под гитару, на бардовских фестивалях. И молодые среди поющих, и ровесники этой песни, и никакого разделения, «дискриминации», по возрасту. Странно, ведь при наших встречах с Дмитрием Павловичем - в делах, в разговорах и по всякому другому случаю — мы иногда такую чушь несём, что в пору и засомневаться, задать себе вопрос: «А сколько вам, ребята, лет? Пожалуй, не 20, не 30 и не 50...» Вопрос получается риторический, да в иём и намёк... То ли нет уже ощущений, или перемен, в манере нашего общения... То ли не видим морщин на лицах, поди уж привыкли, песенки поём, веселимся, поругивая теперешнюю жизнь (со словцом, с ехидцей), не впадаем в греховное уныние, о болячках забываем, о былых травмах, а, ежели совсем уж что-то эдакое придёт в голову, настраивающее на другие мысли, не очень-то печалимся. Вспомнились «весёлые паралитики» из «Записных книжек» Ильфа.

И вот читаю:

Что за дни торопливые эти!
Что за неба изменчивый лик!
Это с осенью встретилось лето,
это сердце остыть не велит...

И далее, в этом же стихотворении:

Это дерзость тебя обновила.
Но смешюн ты в попытках бравад.
Как сильна эта юность наивом!
Как твои безнадёжны права!

И вдругом стихотворении = очень искреннем, очень честном, наполненном иронией, досадой и надеждой...

Сквозь бытия законы
судьбу свою просей…
Всё шире круг знакомых,
всё уже круг друзей.

Ни до кого. Измотан.
Тупеешь от забот.
Всё ниже круг полета,
всё туже круг невзгод.

А недругов – всё глуше,
всё тише голоса.
…вот знать бы только: душу
возьмут ли небеса.

Вот... такое перевоплощение... Оказывается, когда человеку — не сегодня завтра - 75, есть что вспомнить, о чём подумать... Друзья... Они встречаются несколько раз в году, в чей-либо день рождения, в очередную годовщину их многолетнего клуба ли, сообщества, писательского братства. Приезжает Александр Никитин из Москвы, Евгений Красников из Курска. В этот «круг друзей» входил и Анатолий Лесных. Что важнее — дружба или творчество?.. У них никогда одно не мешало другому. Вот опять Дмитрий Павлович засобирался — в Курск, в Москву... «Женя Красников стихи писал, а тут вдруг на прозу потянуло», «у Сашки книга уже к печати готова». И при таких встречах — опять же, снова и снова, возвращаются они к уже, казалось бы, написанному, перечитывают тексты, вновь занимаются правкой, слушают, не слушают друг друга, спорят. Стихи и проза — книги — рождаются в муках. Он знает, что это такое. Получается что и сегодня от редакторских дел не уйти. А, кроме того, Дмитрий Порушкевич — ещё и руководитель Орловского регионального отделения Союза российских писателей... А ещё — всё в тех же папках, в шкафах, на книжных полках — то, что было написано им самим за многие годы: газетные очерки, радио- и телевизионные материалы, заметки, наброски... Их дружба с писателем Юрием Казаковым: знакомство на абхазском берегу, встречи в Абрамцеве, в Москве, в Орле, даже водное путешествие из Новгорода по Волхову

и Ловати, с остановками, ночёвками, рыбалками, разговорами на речных, озёрных берегах... В его «архиве» — фотоснимки, сотни машинописных страниц, исписанные шариковой ручкой блокноты, письма, магнитные плёнки и перенееойиные позднее на диски уникальнейшие записи устных рассканой Юрия Казакова, отчасти уже прозвучавшие в программах орлонекого радио... Что-то было бликовано в периодической печати... И многое-многое могло бы войти в новую книгу, увы, пока ещё «несобранную»... Впрочем, работа эта, и особенно в последние годы, не прекратцалась, Осталось, кажется, только лишь сесть за стол, за компьютер, чтобы привести этот труд к логическому завершению, Да, книги не только пишутся, но и собираются. Недаром некоторые издании называются сборниками, собраниями сочинений. Сейчас, прежде всего, нужно собрать себя, всю свою волю, напряжение, старание... И раскрепостить же себя, чтобы труд принес радость, стал творчеством. Времени нет на отдых, но у по-настоящему творческих людей всякого времени на всё всегда не хватает.

В его стихах теперь всё больше осени, а тут — весна... Может быть, не такая яркая, как в молодые годы, но жизнь — многообразна. Пусть в этой жизни по-прежнему живут, пусть сохраняются и его мыслях, в душе — живые и вечные сюжеты и темы.

Холодно. Цветут сады.
И плывут, необычайно
смутный город освещая,
тучи белые, как льды.

Холодно с утра. А днём
потеплеет, запылится,
растревоженные птицы
замелькают за окном.

Ночь займёт леса свои.
Ты откроешь дверь балкона,
остановишься, прикован:
там шалеют от любви
соловьи.

Содержание

Что за дни торопливые эти... 6
«Ты, осень, чем опалена?..» 7
«И было тихо в том лесу...» 8
«Что за дни торопливые эти!..» 9
«Чем старше ты, тем мысли - медленней...» 10
«А мы всё бьём наверняка...» 11
Одиночество 12
«Вечерних окон маета...» 13
«Округа, крадучись, молчит...» 14
«Вдруг спохвачусь, отчаявшись...» 15
«Крест деревянный. Холмик...» 16
Октябрь 17
«Красный... бурый...» 18
Как это было давно... 19
Эвакуация 21
«Набрело полнолуние...» 22
Помидоры 23
Шефский выезд 25
«Деревушка на холме...» 27
На Кубенском озере 28
«Она мне пела о древней Вологде...» 31
Северное ияние 33
Баллада о медведе 35
Хрустят тротуары 38
«Елка плавная, робкая...» 40
«Закружился вихря клёкот...» 41
Письмо из февраля 42
«Пурга буранит и кричит...» 43
«Зачем у женщины другой...» 45
«Март. Снег в помарках...» 46
«Март набухает хрустальными каплями...» 47
«В мартовское утро весть пришла врасплох...» 48
«Утро ни серое, ни голубое...» 49
«Мир, в сущности, не изменился...» 50
Разлили вино на асфальте базарном... 51
Яростный январь 53
«Сизый ледяной восток...» 56

Снег в Москве 57
Зимний сад 59
«К привокзалью подбираемся гуртом...» 60
«А снега бесконечные навзничь легли...» 61
Зимние мотогонки 62
«Мне в открытое окно...» 63
«Холодно. Цветут сады...» 64
Думчино 65
Сон 67
Жаворонок 68
В Агурском ущелье 69
Ноктюрн 70
Уходят шестидесятники – 72
«Разлили вино на асфальте базарном...» 73
Смерть пророка 74
«Увозили втихаря...» 75
Демон 76
В Останкинском парке 77
«Не останавливай слова 78
... И новый шквал в себе таит 79
Отрывок 81
Июнь 1941 82
День ВМФ 83
«Перед выходом в моря ...» 84
Отбой тревоги 85
В Феодосийском заливе 86
«Остуди мой лоб ладонями...» 87
Молитва 88
Гроза над Ялтой 90
«Пляж под солнцем Черноморья...» 93
«Ты появилась из волны...» 94
«В баре, где хрипла истошная музыка...» 95
«Заплывала далеко...» 97
«Нас из лета сразу в осень...» 99
«Выйду, ссутулясь, в озноб листопада...» 101
«Ты сокрушалась...» 102
«Ещё вчера я был в неведенье» 104
«То набегает мерный гул...» 105
Евгений Пашин. Удивление послепрочитанного 106

Дмитрий Павлович Порушкевич

поздний листопад
стихотворения

Корректор – А.Е. Полякова
Вёрстка – А.Е. Плетнев, Ю.Ю. Евстифеев

Издательский Дом «Орлик»
(Орловская литература и книгоиздательство)
Издатель Александр Воробьёв
Лицензия ИД № 00283 от 1 октября 1999 г., выдана Министерством Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций.

Закон № 082. Подписано в печать 11.07.13 г. Тираж 500 экз.

Отпечатано на полиграфической базе
издателя Александра Воробьёва:
г. Орёл, ул. 3-я курская, д.20.
Тел.: (4862) 76-17-15, 54-15-48, 48-12-05.
E-mail: zakaz@orlik-id.ru | www.orlik-id.ru